



---

Н.С. ЛЕСКОВ

---



Николай Семёнович Лесков

**Ум свое, а черт свое**  
(Рассказы)

**Николай Лесков**  
**Ум свое, а черт свое**  
***(Из гостомельских***  
***воспоминаний)***

*Знает все только грудь да подоплека.  
Русская поговорка*

**Н**е только у нас на гостомельских хуторах, а и в целом округе, вплоть до самой до Рыбницы, не было такой красавицы, как Паша. Что это была за прелесть такая! Высокая, стройная, лицом белая, глаза голубые, как небо, брови соболиные, волосы густые черные, а грудь... Бывало, как наглядишься днем на эту грудь, так голова и пошла ходить ходором, и спать хоть не ложись. Уж на что, кажется, хорошее средство столбы в уме считать, если не спится, а тут, бывало, и это не помогает.

Кому только она сухоты не надала! Деревенские парни на нее зарились, да только они скоро отходили, потому что им сенная девка не к руке, а прочие так просто пропадали за ней.

Кучер был у одного соседнего панка, Дмитрием его звали. Русый, красивый и рассудливый был парень, а через нее так и погиб ни за что, ни про что. Начал пить; сперва свое все пропил, а потом и за господский ковер как-то

зацепился. Прогулявши ковер, вернулся к панку, повинился во всем и говорит: «Не отдавайте меня под суд. Какая вам корысть из суда? Пустите меня в солдаты наняться: хочу служить Богу и великому государю, а вы деньги себе возьмите».

Панок у Дмитрия не лихой был человек, начал его отговаривать. «Что ты!» да «Бог с тобой! Бог тебя простит», – ничего не помогло. Мать старуха в ногах у него валялась полчаса, и руки-то у него целовала, и волосы-то свои седые показывала, – нет! Зарядил свое: «Хочу служить Богу и великому государю». На своем и поставил.

Как обрили ему лоб в рекрутском присутствии, мать так и обмерла, а он только сказал: «Поклонись, матушка родимая, Прасковье Егоровне». Когда угнали сына, старуха вернулась и таково-то кляла Пашу, что и Боже мой! Через годок захворала она, и конец ее пришел, так со всеми простилась, а на Пашу как взглянула, так и язык у нее отнялся. Так и умерла, не простивши ее. А Паша, по правде сказать, чем была виновата? Она сама этой беде была не рада, сама плакала и на духу

просила наложить на нее епитимию, а не могла полюбить Дмитрия. Что ж ты прикажешь делать? Да что Дмитрий! Не один Дмитрий от нее плакался. Мельник тоже был у нас из мещан, по соседству тут мельницу держал у одного панка; человек был молодой и зажиточный и из себя хороший; тоже, бедняк, чуть не пропал. Жена ходила во Мценск к Николаю угоднику, и даже Балыкинской Божией Матери три молебна на свои трудовые деньги отслужила, а в семье все тот же ад крошечный стоял. Голову потерял мельник, жену возненавидел и на детей уж не смотрит, словно они ему не дети, а щенята какие.

– Все брошу, – говорил он Паше, – только пойдешь со мною. Либо откупись, я тебе денег дам; либо бежим: у меня в Одесте есть приятели – никто нас не найдет.

Думала, думала, мельник ей по сердцу был, а напоследок и сказала: «Нет, не хочу греха принять на себя с женатым». Греха этого очень она боялась, а то бы чего! Один также панок у нас был, так он ей и на откуп денег давал, и дом на Курском шоссе обещал купить, так тоже, куда тебе! и не говори.

Очень уж греха боялась и рассудок к тому же имела у себя немалый.

Ночью зимой, бывало, подъедет этот панок на тройке; сани с ковром; целковый давал, чтоб только вызвать ее кататься с ним. И ничего, она, бывало, и ходила, и каталась с ним. Любила шибко ездить: все, бывало, кричит кучеру: «Пошел, да пошел!», а не то возьмет кнутик, да сама пристяжную и поджигивает. Другой же раз смирно сидит и только в шубку уворачивается да вдаль в белое поле смотрит. Очень хорошо бывает у нас на полях, когда они все так и блестят белым снегом по месяцу. Раз она загляделась на эти поля и не слышит ничего, что панок бормочет ей на ухо про свою любовь, а он подумал, что она это нарочно молчит, да сразу и поцелуй ее в щеку. Что ж вы думаете! Ведь такую оплеушину ему свезла, что чуть из саней не вылетел. «Ты, – говорит, – языком болтай, я тебе не мешаю, а с рылом не балуйся».

Такая была смелая! Люди говорят: на чьем возе едешь, того и песенку пой, а ей все это было нипочем.

Присватался было к ней жених, человек

такой, что ничем его покорить нельзя, кажется, было: и умный, и молодой, и жалованья одного на заводе две тысячи брал; только был он из немцев, ну, и опять не пошла. И уговаривали ее, и резоны всякие приводили – не идет да и баста. Напоследок пани что-то на ум пришло; женщина она была опытная. Посадила она немца за чай и позвала к себе Пашу.

– Послушай, – говорит, – Прасковья, может, у тебя есть что такое на совести; может, ошиблась как, оступилась: он на тебе этого греха искать не станет.

А она, услышавши эти слова, как плюнет и перед панею и перед женихом:

– Тот, – говорит, – еще не родился, чтоб меня в грех ввел, а я не хочу с тобой, с немцем, поганиться – вот тебе и сказ. – Как топором это отрубил, хлопнула дверью и ушла.

Силу она большую имела и в душе, и в теле. Ну, а послушайте теперь, что за оказия диковинная вышла из всей этой силы.

Была тоже тут по соседству одна пани, Рощихой прозывалась, и был у нее сын, обучался в университете. Пашиной пани он доводился крестником и, бывало, как приедет до-



мой, так не столько у родной матери, сколько у крестной. Пашина пани была бездетная, ну, и баловала крестника, а известно, какая молодежь: где ей вольнее, туда она и гонится.

Приехал этот Рощихин сын и попал в ту же беду, как и все. Смерть ему полюбилась Паша: не ест, не пьет и во сне ее только видит. Не вытерпел, наконец; открылся ей в любви, а она захохотала. Словно ей приятно было смотреть, как он по ней мучится, и она его, словно как на зло, еще заводить стала. Заведет с ним разговор, как люди любят, как друг из-за друга страдания всякие принимают, а потом вдруг скажет:

– Э! да не мое холопское дело толковать с вами о таких материях, – и уйдет. А чего холопское дело! Она никого не боялась и самой пани, бывало, такие-то бо-мо отпускает, что все только дивились, как та все это терпит.

И вымучила же она его! Просто парень ума рехнулся. Сначала тосковал все, потом бесился, все рвал и метал, а тут уж только уткнется головой в подушку, да и рыдает. Что ты с нею, с любовью-то поделаешь? Она ведь Сампсона, библейского силача, и того остригла.

Раз так-то плачет Роцихин сын, а Паша и входит.

– Встаньте-ка, – говорит, – я оправлю вашу постель.

А он, горький паренек, вскочил, да и бросился перед ней на колени. Вот ведь до чего довела!

Что ж вы думаете? Ведь и тут расхохоталась. Ну а он, как услышал ее смех, зарыдал и прижал свою голову к ее коленам.

Не то ей уж жаль его стало, не то он полюбился ей в эту минуту, только она перестала смеяться и лоб наморщила.

– Параша! душечка! не губи ты меня, – просил Роцихин сын. – Я у тебя, как собака, валяюсь в ногах. Смерть моя от тебя. Пожалей ты меня; полюби меня!

– Полюбить? – спросила она его, сурово на него глядучи.

– Да, полюби, Паша!

– Полюби, Паша! – повторила она его, не то невзначай, не то как дразня его еще больше.

– Радость ты моя! полюби, – все он ее просил.

В устах у него совсем перемягло. Смотрит

он ей в глаза, а она молчит. Схватил он ее руки и ну их целовать. Она сначала было отдернула свои руки от горячих уст, а потом ничего: глядит только, как он у ее ног словно голубь подстреленный бьется.

Наклонилась к нему немножко и шепотом спросила: «Любишь?»

– Ох, люблю, Паша!

– Крепко любишь? – опять она спрашивает.

А он уж и слова не выговорит и руки-то, и колена-то ей целует. Смерть ведь эти поцелуи! Душа в них; так бы и умер, целуя. Недаром «жар крови» на барометрах высоко пишут. Как задурит эта кровь, так, Боже мой, что тут бывает! Страхота!

Каторжная сила была у этой девки, а и у нее колена будто как дрогнули. Да и только зато и было, что колена дрогнули.

Насладились она его муками, точно как иная барышня, да и махнула на него холодной водой.

– Полно, – говорит, – вам *шалить*, руки-то грязные целовать, что тазы выносят.

Так ведь два года он приезжал, и все она

его маяла: ни ответа ему, ни приветов от нее не было.

Письма он ей писал на имя дьяконской дочери. Та, бывало, читает их Паше, так сама плачет, а Паша только брови хмурит.

– Что ты над ним мудруешь? – говорит дьяконская дочь. – Ведь он тебя любит.

– Любит и пускай любит.

– А ты его не любишь?

– Он мне не ровня.

– Он ведь жениться согласен.

– Я не пойду.

– С чего не пойдешь?

– Он мне не ровня.

– Глупая! Что тебе ровня, коли любит? Где ровню-то нам искать?

– И не надо.

– Ой, гляди, девка!

– Авось-небось, – смеясь отвечала Паша.

Тем временем от Роцихина сына письмо пришло, что нашел он себе невесту и просит у матери родительского благословения, а через месяц сам приехал и портрет невестин привез.

– Что? – говорила с укором дьяконская

дочь Паше.

– Что? Ничего, – отвечала Паша.

—

У нас, на Гостомле, летом бывает очень хорошо, особенно когда сирень цветет. У нас уж такое заведение по хуторам, что сирень садят под самыми окнами; так она, как распустится, так и лезет в комнаты. Воздух тоже в это время бывает у нас хороший, и жить в это время очень хочется. Природа у нас здоровая, сильная: долго стоят холода, а уж как пройдет холод, как начнет все разворачиваться, так только забирай. Одно за другим зреет, одно за другим падает.

Раз лежит Роцихин сын в постели; не заснул он еще и книжку читал, а из окошка хлоп в него сорванная кисть сирени.

Посмотрел он в окно: никого нет.

Через два дня опять та же история, через день еще, и еще через день Параша забыла ему принести графин с водою.

Принесла она воду, когда Роцихин сын уже лег, и вышла, и легла спать в холодной

своей горенке возле кладовой. Не спалось ей.

Пошла она опять к Роцихину сыну за зажигательной спичкой.

– Что это она все ходит? – подумал Роцихин сын и, вспоминая прошлое время, заснул.

А Паша вернулась, зажгла свечку, посидела на постели, потом сняла со стенки косо зеркальце, поглядела на себя, ударила себя крепко ладонью по белой груди и легла.

Кто-то все будто скрипел полом. Это был дьявол. Он ходил в черных шерстяных чулках, как некогда я ходил через комнату моей милой бабушки; но моей бабушке было восемьдесят лет, и она не слыхала никакого скрипа, а Паше было двадцать три года, и она услышала, как ходит дьявол по скрипучему полу. Мучил он ее этим скрипом, а молитвы ей не шли на память. Дьявол дунул ей в лицо, и лицо разгораться стало; она смачивала горячим языком уста, они смягли, как у мученика в аду. Она забросила голову направо, а подушка греется под головою; она бросила голову налево, а подушка опять греется. Села Паша на кровати и все пальцы себе ломала, так что слышно было, как хрустели составы, а

там нерешительно спустила одну ногу с кровати, а за нею другую. Стала Паша на холодный пол и за лоб взялась, задумалась. В это время словно кто-то щелкнул сиреневым листком. Паша испугалась и со страха, как была босая, в одной тиковой юбочке, так и вскочила к Роцихину сыну.

Вбежала Паша в его комнату, упала на диван, что в углу стоял, и зарыдала. Роцихин сын спросонья-то никак не разберет, что с нею делается. Бросился к дивану, спрашивает ее:

– Что ты? Паша! Паша! Что с тобой? – А она как схватит его обеими руками за волосы, так руки в волосах и замерли.

– Больно! больно! Паша! – жалуется Роцихин сын.

– А-а! больно! А мне не больно было, пока я дошла сюда? – словно как со злостью проговорила Паша, и сама все держит его голову и все плачет.

– Что ж ты плачешь, Паша?

– Ты меня бросишь?

– Да зачем ты пришла?

Молчит.

- Уйди, Паша!
  - Ты меня бросишь?
  - Что с тобой делается? Боже мой! Мне тебя жаль: пусти меня!
  - Не пущу, – проговорила чуть слышно.
  - Уйди скорее.
  - Не уйду, – отвечала она еще тише.
- Так ведь таки и не ушла.

—

Через полтора года у одного нашего панка однодворец землю купил; обстроился и хозяйством завелся, а хозяйки у него не было, он и женился на Паше. Пара их была молодая и красивая и к тому ж ровная. А через три года Роцихин сын приехал с молодою женой. Такая-то была, говорят, нравная, что упаси ты Царица небесная! Люди сказывали, что никому от нее не было спуску, ни мужу, ни свекрови, никому, никому. С горя Роцихин сын все с ружьем стал шататься. Так он прожил целое лето и уехал уже перед самой конопляной уборкой. Пошли и однодворцевы работники брать конопли, да как пробрали с полосмин-



ника, так напали на такое место, что просто в лоск вымято, и поклепали в этом деле попова батрака с солдаткой, что у мельника жила в работницах.

Мода уж такая жаловаться на «наших дев мерочных», а если б конопля повыбрать! Что б там только было? Уж на что наша Гостомля просто кажется «лягушечьим царством», а что ржи и конопели мнетя вдоль всего ее короткого течения!

—

Я имею много оснований искренно сожалеть, что Гейне умер; но еще более мне жалко, что он умер, не познакомившись с Иваном Ивановичем Андросовым, который в наших местах садами занимался. Лучше Гейне никто, кажется, не характеризовал женщин различных стран. Вот что он пишет в своей характеристике: «Каждая страна имеет свою особенную кухню и своих особенных женщин. Если смотреть с высшей, с идеальной точки зрения, то нельзя не признать, что женщины везде имеют сходство с кухней сво-

ей страны. Не так ли точно здоровы, питательны, солидны, положительны, безыскусственны и при всем том так превосходны английские красавицы, как проста и хороша кухня старой Англии: ростбиф, баранье жаркое, пуддинг в пылающем коньяке, зелень, вареная в воде, и два соуса, из которых один есть топленое масло. Там не улыбается фри-касе, не обманывает воздушный воль-о-ван, не вздыхает вдохновенный рагу, не резвятся на тысячу манер начиненные, взбитые, поджаренные, обсахаренные, пикантные, витиеватые и сентиментальные кушанья, которые мы встречаем у французского ресторатора и которые представляют разительнейшее сходство с прекрасными француженками. Нередко мы видим, что у этих последних самый-то предмет есть посторонняя вещь; что иногда самое жаркое далеко не так хорошо, как соус; что вкус, грация и блеск здесь главное дело. Желто-жирная, страстно приправленная кухня Италии носит совершенно характер итальянских красавиц. Все плавает в масле, лениво и нежно, напевает сладкие мелодии Россини и плачет от запаха лука и желаний. О немец-

кой кухне – ни слова. У ней все возможные добродетели и только единственный недостаток. Есть в ней чувствительное, однако нерешительное печенье, влюбленные яичные кушанья, добрый вермишель, сердечный ячменный суп, оладьи из яблока и сала, добродетельные клезы, кислая капуста – благо тому, кто все это может переваривать. Что касается голландской кухни, то она отличается от немецкой, во-первых, чистоплотностью, а, во-вторых, вкусом. Сознательная наивность и чеснок».

А о русской кухне, о польской и малороссийской – ни слова. За это, мне кажется, я имею гораздо более права сердиться на Гейне, чем все дамы Антверпена за то, что он рассказал всему миру об их обыкновении носить фланелевые панталоны. Во-первых, женщины моей родины совсем не такие лягушки, какими их изображают французы, а, во-вторых, сколько бы остроумных вещей мог сказать Гейне по поводу соотношения вареников, зраз и запеканых бабок к женщинам тех стран, где употребляют вареники, зразы и запеканые бабы! Потом давно бы изменилось

бы общественное мнение, что у нас нет своей кухни, что она вся или немецкая, или французская. Конечно, в Петербурге это так, но в глуби, например, у нас на Гостомле, готовят «крупеню», о которой весь образованный мир еще не имеет понятия. Вот вам и образованность! А готовится наша гостомльская крупеня из гречневых круп, сливок или сметаны, яиц и масла. Все это смешивается и жарится на сковороде.

Иван Иванович Андросов, бывало, не принимал без экзамена ни одной кухарки. «Ты приготовь мне три крупени прежде», – говорил он. Плохая крупеня никуда не годится, а хорошая и вкусна, и тем удобна, что бери ее с собой куда хочешь: и сытна, и сочна, и долго не черствеет. Но для того, чтобы вышла такая крупеня, нужно, чтоб и крупы не подгорели, и верхняя корочка не лопнула, а чтобы всю крупеню, так сказать, насквозь проняло маслом и жаром. В таком виде ее находят очень удобною и дома, и в дороге, и куда только судьба ни кинет. Я когда-то тоже находил это блюдо довольно вкусным, но не отрицаю, однако, что им можно и подавиться.

*Париж, 19-го января 1863 г.*